

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

СВЯТАЯ
ПЛОТЬ

Зинаида Гиппиус

Святая плоть

«Public Domain»

1900

Гиппиус З. Н.

Святая плоть / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1900

«В чистый понедельник ночью купец Родион Яковлевич Глебов вернулся в свой город из Москвы. Он думал попасть домой к масленой, да не успел, и как ни противен был ему московский масленичный шум и суета – он себя превозмог, остался, кого нужно повидать – повидал, справился хорошо и теперь ехал довольный. Впрочем, довольство его ничем не выражалось: глаза, как всегда, были строги, брови слегка сдвинуты. Он одевался по-русски, без щегольства, но и без всякой неряшливости: высокие сапоги, теплый картуз. Его худощавое, темное лицо, обрамленное длинной бородой стального цвета, было похоже на лик старого письма...»

© Гиппиус З. Н., 1900

© Public Domain, 1900

Содержание

I	5
II	8
III	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Зинаида Николаевна Гиппиус

Святая плоть

I

В чистый понедельник ночью купец Родион Яковлевич Глебов вернулся в свой город из Москвы. Он думал попасть домой к масленой, да не успел, и как ни противен был ему московский масленичный шум и суета – он себя превозмог, остался, кого нужно повидать – повидал, справился хорошо и теперь ехал довольный. Впрочем, довольство его ничем не выражалось: глаза, как всегда, были строги, брови слегка сдвинуты. Он одевался по-русски, без щегольства, но и без всякой неряшливости: высокие сапоги, теплый картуз. Его худощавое, темное лицо, обрамленное длинной бородой стального цвета, было похоже на лик старого письма.

Родион Яковлевич вышел из вагона с ручным саквояжем (багажа он не возил), миновал холодные желтые залы вокзала, громадного, еле освещенного, грязного, похожего на все вокзалы губернских городов, и, толкнув тяжелую дверь, вышел на крыльцо.

Вокзал был далеко от города, версты четыре по полю. У ступенек крыльца стояло несколько широких извозчичьих саней.

– Пожалуйста, Родион Яковлевич! С приездом вас! – крикнул Федька. – Ивана нет нонче. Давно вас дожидались, еще на масленой. Пожалуйста; духом доведу.

Глебов молча уселся в сани и запахнул медвежью шубу. Стояли морозы, последние, но крепкие, звонкие. Полозья так и визжали по масленистой дороге. С ясного, широкого, синечерного неба светит месяц, маленький, немного на ущербе, но пронзительно-яркий от мороза.

Свежие Федькины лошади бежали бодро по голубой равнине. Кое-где в снегу мелькали темные домики. Федька-извозчик то и дело оборачивался к Родиону Яковлевичу и заговаривал, не смущаясь тем, что купец отвечал ему редко.

– Как дела изволили справить, Родион Яковлевич? Все ли в добром здоровье?

– Слава Богу.

– Ну, подай Господь. А я позавчерашнего дня Николая Семеновича на станцию возил.

– Сурина?

– Точно так. В Казань отъехали. Спрашивали, когда ваша милость из Москвы будут. Мне Евлампия Ниловна, Дунина госпожа, говорили, что каждый день ждут, ну я так и сказал, что каждый, мол, день ждут.

– А ей-то откуда знать? – сурово вымолвил Глебов.

– Через Серафиму Родионовну, не иначе. Изволили писать Серафиме Родионовне? А барыню Дунину я тогда с рынка вез.

Глебов ничего не отвечал. Старшей дочери, Серафиме, он не писал. Она и так должна ждать его каждый день. Светать начнет, утро недалеко, Серафима знает, когда поезд приходит, и, верно, встала, ждет с самоваром.

«Лиза что?» – подумал вдруг Глебов и плотнее запахнул шубу.

Утро было, точно, недалеко – но еще не светало. Только месяц все выше забирался на пустынное небо, делался меньше и ярче, и от его света голубая, тихая равнина казалась еще тише. Въехали в город – и ничто не переменилось, тот же простор, та же тишина: широкая-широкая, сине-белая улица, и кажется она еще шире, потому что прямая и потому что тянутся по сторонам низенькие домики в один этаж; снежные кровли сливаются со снежной улицей, окна потухшие, только кое-где стекло сверкнет мертвым месячным светом. Нет проезжих, и собаки не лают, глухая ночь, глухой город, глухие дома, и люди в них глухие, потому что спят. Снежное море кругом молчит, со своими неподвижными белыми волнами.

Федька свернул лошадей влево, в переулочек. На повороте открылись и слабо замерцали вдали золоченые главы кремлевского собора. Родион Яковлевич глянул и три раза, не торопясь, перекрестился. В ту же минуту где-то запел петух. Ему ответил другой, дальше, потом еще и еще, совсем далеко, чуть слышно.

– Третьи, никак, – сказал замолкший было Федька. – Заря занимается. Пожалуйте, ваше степенство, приехали!

Дом у купца Глебова был хороший, деревянный, старый и крепкий, с широким, поместительным мезонином. Его весь занимала семья одного судейского барина. Сам Родион Яковлевич с дочерьми жил в двух комнатах, внизу, почти что в подвале, ход был в ворота, через двор. Из переулочка дома и не видно, он стоял на улице.

Калитку скоро отворили. Родион Яковлевич, поскрипывая сапогами, пошел к дому. Внизу, в широком, низком окне у самой земли, тускло краснел огонь. Серафима ждала отца.

Глебов прошел через темные сени, где визгнул блок, и отворил дверь в первую горницу. Удушливое тепло его охватило. Серафима Родионовна приняла саквояж, шапку и шубу. Направо, в углу, низко, стоял киот с образами и теплилась красноватая лампада. Родион Яковлевич молча помолился, медленно кланяясь, и обернулся к дочери.

– Ну, здравствуй теперь.

Она поцеловала его руку, он поцеловал ее в голову.

– Живешь? Что Лиза?

– Слава Богу, папаша. Вы как съездили? Здоровы ли?

– Ничего. Задержался маленько, да ничего, все ладно. Самовар-то есть у тебя?

– Самовар готов, – сказала Серафима и неслышно вышла. У нее был тихий голос и тихие движения.

В этой же горнице, низкой, неглубокой, Родион Яковлевич и спал. У дверей выдавалась белая печка; между печкой и стеной в другую комнату, в углу, стояла кровать Родиона Яковлевича, за синей ситцевой занавеской. Между двумя широкими, точно сплюснутыми окнами, был раскинут стол, накрытый свежей серой скатертью с красными каймами. В простенке горела жестяная лампочка. На высоком подоконнике лежали большие, видно тяжелые, желтые счеты. Громадные, низко висящие часы с розанами на посеребренном циферблате показывали теперь без двадцати пять.

Родион Яковлевич сел к столу. Вошла Серафима, вынула из стеклянного шкафчика чайный прибор и початый домашний хлеб. Закутанная Дарья внесла большой, шипящий самовар. Серафима, все так же неслышно двигаясь, заварила чай и села поодаль: ее совсем стало не видно за высоким самоваром.

Родион Яковлевич помолчал. Потом спросил дочь:

– Заходил кто?

– Знали, папаша, что вы в отъезде... Кому заходить? Евлампия Ниловна была.

Он глянул из-под бровей.

– Ну, эта еще... Бабы шлепотки. Небось косила, косила языком. А ты? Была где?

– На ефимонах была, у Сергия...

– На ефимонах! В гости, спрашиваю, куда ходила? Серафима ответила не вдруг. Как будто чуть заметная розовая тень легла на ее немолодое, бледное лицо. Заговорила она так же тихо, но торопливее:

– Я, папаша, тоже один раз у Евлампии Ниловны была. В аптеку перед вечером пошла, Лизе грудного чаю взять, а Евлампия Ниловна там. Уговорила меня, я с полчаса у них посидела.

Отец опять глянул в ее сторону из-под бровей, суровее.

– А Лизу на кого покидала?

– Дарья с ней оставалась... – еще тише ответила Серафима и протянула отцу большую фарфоровую чашку с чаем.

Родион Яковлевич чашку принял, поставил перед собой, помолчал.

– А что Лиза, нездорова, что ль, была? – спросил он хмуро.

– Нет, так, закашляла, да прошло.

– Спит?

– Спит покойно.

– Там свет у тебя есть?

– Лампада горит.

Родион Яковлевич медленно поднялся из-за стола.

– Взгляну, не видал еще, – сказал он и, осторожно ступая, пошел к притворенной двери.

Серафима встала за ним.

Другая горница была побольше первой и оттого казалась еще ниже. Темный блеск лампадки едва освещал ее. Два окна выходили на двор, а два – по другой стене – в садик, и снег совсем завалил их. На широкой двуспальной постели, почти под лампадными лучами, спала, разметавшись, девочка лет пятнадцати, крупная, полная, удивительно красивая. Недлинные коричневые локоны мягко вились у лба и нежных ушей и падали слабыми кольцами на подушку. На щеках розовыми пятнами стоял румянец. Тонкие разлетающиеся брови давали не то испуганное, не то невинно-лукавое выражение ее лицу с темной тенью сомкнутых ресниц. Губы были полуоткрыты, как у спящих детей. Родион Яковлевич постоял молча, очень тихо. Лицо его стало яснее, морщины сползли со лба.

Лиза пошевелинулась и чуть-чуть застонала.

– Разбудите! – шепнула Серафима.

Глебов встрепенулся и трижды, широко, перекрестил девочку.

– Христос с тобою! Спи с Богом!

И, опять так же осторожно ступая, вернулся в первую горницу, к чайному столу.

II

Родион Яковлевич Глебов был один из старейших и наиболее уважаемых купцов в городе. Дела он вел большие, но тихо, так что никто в точности о его состоянии ничего не знал. Он торговал мукою оптом, склады его были в пригороде, за рекою. Приказчика настоящего имел только одного, который там же в пригороде и жил. Несколько лет тому назад Глебова выбрали церковным старостой за крупное пожертвование на новоотстроенную церковь Сергия в его приходе.

Всем была известна строгая, смиренная жизнь Родиона Яковлевича и его благочестие.

Серафима хорошо помнила свою мать: она умерла в самый день рождения Лизы, а Серафиме шел в то время четырнадцатый год. Мать была еще молодая, веселая, – но тихая, с карими глазами. Волосы у нее вились кольцами, как у Лизы, только она прикрывала их шелковым платочком. Жили они тогда не внизу, а в мезонине, там было светло и просторно, четыре горницы. По углам стояли тяжелые кiotы, и теплились лампадки перед праздниками, а у отца неугасимая.

Серафима знала, что отец был из семьи древнего благочестия. Рассказывали, что смолodu он считался первым начетчиком и чуть не тверже отца с матерью ненавидел православную церковь и никониан, – а семья его старого закона очень строго держалась. Двадцати лет он был сведущ в Писании, как не бывает иной и сорока, и не раз вел степенные споры с приезжими священниками. Что с ним вдруг подеялось – никто не знал. Отверг старописные книги, в церковь пошел, отцу и матери так прямо это и объявил. Когда спрашивали, кто его смутил – он отвечал одинаково: «Никто не смутил, сам своим разумом дошел, а против своего разума ничего не могу». Характер его знали: коли скажет, что своим разумом дошел, – так уж тут назад его не повернешь. Говорили, будто отец с матерью прокляли его, в нем и в детях его, но наверно никто этого не знал. Родион Яковлевич стал жить один, а вскоре старики умерли и, несмотря на проклятие, дом и капитал отказали сыну. Родион Яковлевич опять поселился в старом доме, дела расширил и лет через пять женился на небогатой сироте, православной, которая вскоре родила ему дочь Серафиму, а через тринадцать лет – Лизу, и в родах умерла.

Родион Яковлевич, суровый, молчаливый, с самого раннего детства внушал Серафиме ужас. Придет, бывало, домой, слова не скажет, за обедом бровей не раздвинет. Защелкнется за ним дверь – а мать уж шепчет Серафиме, шепчет, головой кивает и улыбается тихо:

– Ты, Фимочка, не бойся отца. Он добрый, ты не смотри, что он такой угрюмый, он добрый.

Фимочка все была с матерью. Отдали ее было по десятому году не то в школу, не то в пансион, да скоро взяли. Довольно поучилась, а много девушке знать не годится.

– Что ты у меня какая бледная да боязливая, – говаривала мать Фимочке. – С отцом слова никогда не скажешь. Он тебя не съест, он добрый, только у него характер такой, потому что он в древнем благочестии был.

Мать улыбается, но Фимочка все-таки боится, не понимает и, наконец, робко спрашивает:

– Мамашечка, а что это такое «древнее благочестие»?

На этот вопрос мать всегда отвечала все тем же пространным рассказом, нараспев, как Родион Яковлевич «дошел своим разумом» и как гневались отец с матерью, а ничего поделать не могли.

Но Фимочка все-таки не понимала, что такое «древнее благочестие», и ей было еще страшнее.

Мать сидела у окна, в своем шелковом платочке на пышных волосах, а девочка около нее, на низкой скамейке, и жалась к ее коленям.

– Характер у тебя боязливый, – говорила мать. – А какое оно, древнее благочестие-то, я не знаю, потому что мы из православных. Слыхала, что люди, что по старине живут, все такие степенные да сумрачные. У них строго. Вот образа тоже. Наш образ, возьми ты хоть Спасителя али Богородицу с Младенцем, – лик светлый, волосы кудрявятся, ребеночек с улыбкою написан, и глазок у него карий, радостный. А которые по старине люди – те этого не приемлют. У них в иконе чтобы тьма была, лик черный, только глаза белые на тебя смотрят и ужасают, это точно. Я видала такие иконы, да и у нас есть в киоте, не ихние, а вроде как бы ихние, тоже старые.

Фимочка думала о древних иконах, ей вспоминалось лицо отца, и снова делалось страшно. А мать продолжала:

– Родион Яковлевич добрый. Он разумом дошел до нашей православной радости, а в сердце у него и во всем его характере – старинная строгость, потому что, кто в чем вырос и возмужал, – тот того не превозможет. Ну, оно и показывается, будто он суровый. В нем крепость большая. Ты покоряйся ему только, дочка, слушай его во всем.

Серафима покорялась и слушалась, и все-таки боялась отца. Она верила, что он дошел разумом до «православной радости», но лик у него все-таки был темный, и сердце в нем было старое.

Когда умерла мать, пришли священники, стали петь панихиду. Лицо у Родиона Яковлевича сделалось еще темнее, но он не плакал. Серафима плакала тихими, покорными слезами. Мать лежала на столе и печально улыбалась, вся белая. Священники пели над ней, что она уж не будет больше ни печалиться, ни вздыхать, а Серафиме припоминалось, как мать ей говорила:

– Ты, Серафимочка, не смотри, что я все сижу у окна да вздыхаю иной раз, будто печалюсь. Я тебе вот о радости моей говорю, а ты то понимай, что я и сама не знаю, радость ли она, или печаль. Мне в радости-то моя печаль и дорога. Вздохну я – и сладко мне. В печали моей страха нет.

И Серафиме было больно, что там, куда ушла мама, у нее отнимут ее радостную печаль.

Остались они одни. Перешли вниз. Лизе кормилку наняли. Странная была девочка, больная. Серафиме отец сразу передал домашнее хозяйство, и так оно с тех пор и пошло. На ее руках и Лиза была. Когда девочка стала подрастать – увидали, что она совсем больная. Руки и ноги у нее дергало, и чем дальше, тем больше. Говорить не научилась, ничего не понимала и не слышала, только дико мычала. Серафима к ней привыкла, а другие ее боялись, особенно когда она стала ходить и расти. Отец звал докторов, сказали, что она глухонемая, слабоумная, что у нее Виттова болезнь и сердце не крепкое. Два раза Серафима с отцом и Лизой ездили на далекое богомолье, к мощам и к чудотворной иконе. Серафима ждала чуда, но Лиза не поправилась. Отец стал еще сумрачнее, но все чаще заходил в горницу, когда Лиза спала – а спала она тихо, спокойно – и подолгу глядел на нее. Однажды сказал Серафиме строго и постучал пальцем по столу:

– Смотри, береги сестру! Как мать, береги ее! Ты мне за нее ответ дашь.

Лиза любила отца больше, чем Серафиму; когда он входил, бросалась к нему, мычала, дергаясь. Он часто брал ее за руку, гладил по голове и смотрел подолгу ей в лицо. Первый вопрос его был, когда он возвращался из отлучки, о Лизе.

Серафима покорно ходила за Лизой, без возмущения и без особой привязанности. Спала с ней вместе, кормила и одевала ее. У Лизы бывали припадки, она очень страдала, и тогда Серафима думала: «Бог приберет ее, – ей там лучше будет. Жалко, мучается. Какая уж это жизнь!»

Лиза росла, выравнивалась, полнела и была очень красива, когда спала: она походила на мать. Годы шли незаметно, похожие один на другой. Бледное, длинное, тихое лицо Серафимы, некрасивое, с широкими светлыми глазами и слегка оттянутым книзу ртом – делалось еще бледнее и тише. Серафима не скучала и не терзалась: жила, не замечая годов, смотрела за

Лизой и за хозяйством; читала «Ниву» и переводные романы; когда думала, то тихо и смутно вспоминала мать. Ходила в церковь к службам; отца боялась, но меньше, потому что слушалась его и знала, как ему угодить.

Так шла жизнь Серафимы до последней зимы, когда ей минул двадцать девятый год.

III

Дня через два после возвращения Родиона Яковлевича Серафима шла из церкви домой по деревянным, мокрым мосткам своего переулка. Был час четвертый в самом начале. Морозы оборвались сразу, пришла весна, безветренная, неслышная, ласково и тихо, почти незаметно съедающая снега. Небо стояло неподвижно ясное, голубое, будто умытое, все в предвечернем золоте. Под снегом, в канавке, уже текли тонкие ручейки, но тоже тихие, без лепета. Нежный воздух был остр и так легок, точно вовсе его не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.